

## Рассказ Никифора Петровича Кузнецова (о Емельяне Пугачеве в передаче И. И. Железнова)

— Мы тоже люди темные, безграмотные, — сказал старик, — а умеем различать, кто грамотен и кто безграмотен; достанет и у нас ума понять, кто может быть безграмотен и кому ни под каким видом нельзя быть безграмотному. Конечно, дело темное, закрытое, — прибавил старик, — доказать этого мы вам не можем. По нашим приметам, он царь, по вашим — не царь; по сказкам наших стариков, он грамотен, а по вашим — нет. Кто теперича разберет? Пущай будет по-вашему, пущай это был не царь, — такая уж, видно, планида его, не хочу спорить. Кто бы он ни был — это все единственно. Теперича я вот к чему речь веду. Задумал он назваться царем не в один же час, — примерно с вечера задумал, а к утру взял да и ухнул то-ись взял да и объявился. Вероятно, он готовился к этакому делу не малое время. Еще года за полтора допреж того, как объявился у нас, он объявился на Волге. Так как же ему не научиться было грамоте хотя для этакого случая? Человек он был лютой, дошлый на все руки: и армией предводительствовал, и крепости брал, и сам в крепостях отсиживался, и пушки отливал, и порох, говорят, делал. Такой человек, хотя бы и сизмальства и не умел грамоте, все-таки к этому случаю приспособился, нарочно бы научился, хоть сколько-нибудь, хоть, к примеру, имя свое подписать да какую ни на есть бумагу, хотя по складам, прочитать. Грамота не бог весть какая вещь мудреная: все дело ума человеческого. К примеру расскажу вам один случай из нашего простого быта, — говорил старик немного погодя. — Жил-был и теперь здравствует казак С...в.

— Федул Иванович? — прервал я.

Старик улыбнулся и спросил:

— Али знаете?

— Как не знать! — сказал я. — Четыре года сряду был и поваром и экономом в полковом штабе, в М. Весь штабный люд поучал чтением душеспасительных книг: примерно, о пришествии антихриста, о проклятой траве-табаце, о картофеле, — откуда он взялся, — о Цареграде, о воинах,

урядою казаках брадатых, кои Царьград возьмут...

— Значит, знаете, по какому случаю Федул Иванович с сединой в бороде выучился читать и писать? — спросил меня собеседник.

Я утвердительно кивнул головой. Старик продолжал:

— Ну, есть когда знаете, нечего и толковать. Теперича я вот к чему говорю: уж коли Федул Иванович, человек с белужинкой<sup>1</sup>, в два-три месяца научился читать и писать для того единственно, чтобы получить чин уряднический (унтер-офицерский), то можно ли сомневаться, чтобы он, Пугач по-вашему, не научился грамоте, — он, такой лютый и дошлый человек, он, который задумал произвести себя в цари, который, между нами будь сказано, чуть-чуть не перевернул вверх дном всю Расею?! Что на это скажете? — спросил старик, глядя на меня пристально и слегка улыбаясь.

Выслушав такое сравнение, приведенное стариком не в смысле чистого убеждения иль-бо неопровержимого факта, а в смысле остроты иронии, я от всей души засмеялся. И вздумал же, в самом деле, старик сделать такое, по-видимому наивное, а в сущности саркастическое сравнение.

— Важно, Никифор Петрович! — сказал я сквозь смех. — Теперь поверую, что Пугач знал грамоту.

— Ваша воля, хотите верьте, хотите нет, для меня все единственно, ведь не я выпяливаюсь с ним перед вами, а вы сами допытываетесь, — сказал старик тоном, более уже серьезным. — А мы, кроме шуток, верим, что он знал грамоту.

— Когда он задумал жениться, — говорил старик тем же серьезным тоном, — тогда со всего нашего города и со всех ближних и дальних хуторов собирали девушек на смотрины в дом к Толкачевым. Девушек собирали что ни самых лучших, кои красотой и смиренством славны были, а кое-каких не тревожили. Тут же, то-ись на смотринах, была и Устинья Петровна. Она доводилась родителю моему тетушкой, а мне, значит, доводится бабушкой. Девушка она была красивая и «лютая». Сама, говорили, сложила про него песню и, как он пришел, спела. Песня, говорили, была хорошая, такая жалостная, все насчет него, как он страдал за правду и как бог незримо за доброту его навел на добрых людей, которые рады животы свои за него положить... Понравилась ему песня, понравилась и Устинья Петровна. Обошел он всех девушек от первой до последней, всех кое о чем спрашивал, и все, знамо дело, сидели ни живы

ни мертвы, говорили «да» да «нет», а от иных и слова не добился. Одна только Устинья Петровна не обробела, смело с ним обходилась, словно век жила с такими персонами. Сказано: девка лютая была. Он и выбрал ее себе в невесты. И тут же, собственной своей рукой, отметил на бумаге, то-ись на ерестре, — девушкам ерестр был сделан, — и отметил, говорю, собственной рукой пером: быть-де ей, то-ись Устинье Петровне, его обручальницей. Значит, пером владеть умел.

Сестру Устиньи Петровны, Хавронью Петровну, молодую женщину, вдову, назначил к ней в штат-дамы, а двух девушек, сестер Толкачевых, определил к ней во фрейлины, чтобы они ходили за ней, как за настоящей царицей.

Хавронью Петровну и я помню. Старушкой жила она у нас в доме, а когда умерла, в ту пору мне было лет десять с чем-нибудь. Много, бывало, покойница рассказывала о разных разностях, что было в ее пору и в городе нашем, и в самом Питере, да всего-то не упомнишь.

Когда немного поуспокоилось на Яике, Устинью Петровну и с штат-дамой и с фрейлинами, со всем значит, по-ихнему, штабом, взяли в Москву, а из Москвы в Питер. Фрейлин Толкачевых недолго держали в Питере, скоро отпустили на родину, а Хавронья Петровна во все время безотлучно находилась при своем месте, то-ись при Устинье Петровне, до той самой поры, как вышло решение от государыни насчет всего этого дела. А жили они, Устинья Петровна и Хавронья Петровна, в одном дворце с государыней, только в особых покоях. И кушанье подавали им с царского стола.

Раз позвали их обеих, то-ись Устинью Петровну и Хавронью Петровну, в упокои к государыне. И было там многое множество енералов и сенаторов, и все они стояли в вытяжку, словно солдаты во фрунту. Одна государыня сидела на стуле, с короной на голове и державой в руках. Когда они вошли, государыня посадила Устинью Петровну рядом с собой по левую сторону на другой порожний стул, поменьше того, на котором сама сидела, а Хавронье Петровне приказала стать позади Устиньи Петровны за стулом, — так следовало по чину штат-дамы. Посидели они сколько-то времени, помолчали; напоследок государыня говорит Устинье Петровне:

— Устинья Петровна! узнаешь ли своего обручальника?

— Как не узнать! Узнаю, — говорит Устинья Петровна.

Государыня подала знак, платочком махнула.

Растворились сбоку двери, и вывели из них под руки человека в красной хламиде, обличьем похожего на Пугача.

— Этот, что ли, Устинья Петровна, твой обручальник? — спрашивает государыня.

— Нет! Это не обручальник мой! — говорит Устинья Петровна.

Государыня махнула платочком, и человека этого вывели вон из упокоев в те же двери, откуда ввели. Немного погодя растворились с другого боку двери, и вывели оттуда под руки настоящего Пугача в белой хламиде.

— Устинья Петровна! Этот, что ли, твой обручальник? — спрашивает государыня, а сама закусила губки, чтобы не улыбнуться...

— Да! Это мой обручальник! — сказала Устинья Петровна.

Государыня опять махнула платочком, и Пугача вывели вон из упокоев в те же двери, откуда ввели. Когда вводили его, он только сверкнул глазами сперва на государыню, а потом на енералов, — знамо, все недруги его были, — потупился и ничего не сказал. А когда повели его из упокоев, он взглянул жалостно так-то на Устинью Петровну, вздохнул да и сказал:

— Грех будет, есть когда станет обижать ее: она ничем непричинна.

— Не беспокойся об ней: будет сохранна! — промолвила государыня.

Немного погодя государыня встала со стула и сказала:

— Ну, прощайтесь сестра с сестрой!

И бросились Устинья Петровна и Хавронья Петровна друг дружке на шею и зарыдали. Долго плакали они, рыдали, напоследок, почитай силой, развели их в разные упокои. С той минуты Хавронья Петровна не видала Устинью Петровну.

После того, через некоторое время, государыня обдарила Хавронью Петровну деньгами и с миром отпустила на родимую сторону, а Устинью Петровну отвезли на острова, и там кончила она жизнь свою, когда час воли божией настал. На островах выстроен был для нее особый дворец, и жила она в нем до конца дней своих во всяком изобилии: ей, значит, шло из казны царское жалованье.

Хавронья Петровна ехала из Питера через Москву и видела там, как казнили подложного Пугача, того, значит, самого человека, что в упокоях у государыни показывали, обличьем-то похожего на Петра Федоровича. Вывели его перед народ на площадь, подвели к столбу, прочитали молитву, и палач отрубил ему голову, воткнул ее на шпиль на столбе и раза три прокричал народу: «Смотри, народ православный! Вот голова Пугача-самозванца!» А он, этот казенный человек, в ту самую минуту, как палач стал замахиваться топором да примериваться, перекрестился и сказал: «Умираю за матушку Расею да за батюшку-царя...» Хотел, видно, еще что-то сказать и рот было разинул, да палач не дал: хватил топором и с однорезки отсек ему голову. Хавронья Петровна все это видела своими глазами, слышала своими ушами: она близехонько стояла у столба, где казнь совершали; ей, значит, начальство супротив других дорогу дало. Этим самым и прекратилось замешательство.

— У Устиньи Петровны был отрок от Петра Федоровича, — говорил далее старик. — Сама государыня воспитывала его. Отрок был дельный, разумный, в сенате заседал, да недолго прожил: извели его бояры, так и пропал без вести... Ненавидели они самого Петра Федоровича, по этой причине ненавидели, гнали, искореняли и семя его. Об этом рассказывал в семье нашей шурин царский, Андриан Петрович. После всей этой заворохи он ежился иногда в Питер с царским кусом, видал там и отрока, только не открывался ему, а издали видал, нельзя иначе было. Видал изредка и самое Устинью Петровну, ездил к ней по тайности на острова. А как отрока извели, о той самой поре и не стали допускать Андриана Петровича до Устиньи Петровны. Знамо, бояры мудрили из ненависти.

— Под последний конец замешательства, когда Петр Федорович встречал везде одно утеснение и по тому самому укрылся было опять на Узенях, казаки стали совещаться насчет его особы, чтобы, знаете, выдать его начальству, — говорил далее старик. — Хотели вины свои искупить и к тому же награждение получить, потому что объявлены были от государыни большие деньги, кто задержит и представит его к ней, живого или мертвого — все единственно, — на то, значит, дело пошло: она иль-бо он, а обоим несовместно стало. Петр Федорович тотчас догадался и «сказал:

— Совет держите обо мне! Что ж мыслите? Приступайте, приступайте!.. Ничего, братия, не сделаете. Только выдадите начальству, да я этого не боюсь. Смотрите, сами после не раскайтесь!..

Тут же был царский шурин, не Андриан Петрович, а другой, старший брат, Егор Петрович. Петр Федорович подозвал его к себе, вздохнул и тихо, жалостно проговорил:

— Не светить двум солнцам на небе, — не бывать двум царям в едином царстве. Одно солнце перед другим должно померкнуть, — один царь другому должен уступить место: это — я!

Минуту спустя он заговорил другим, сердитым, громким голосом:

— Смотри, Егор Петрович! Будут казаки меня брать, ты рукой до меня не моги дотронуться. Боже сохрани. Ты знаешь, кто я, и чувствуй это! Ты родину свою узришь, а им воскресу не будет!..

Стали переезжать Большой Узень повыше Порогов. Одна половина казаков переехала прежде на этот берег, а другая половина осталась на том берегу. И Петр Федорович оставался на том же берегу. Напоследок стали переезжать и остальные казаки и, как доехали до середины реки, тут и решились, исполнить свое намерение: в лодке же и взяли его. Он не противился, а только примечал, кто из казаков накладывал руки на него.

Когда представили его в наш город, в ту пору всех казаков, кто при последнем конце при нем на Узенях находился, — всех тех казаков угнали в Оленбурх по канату и там рассадили по острогам. Егор Петрович по канату же шел туда, но года через два его освободили, и он приехал из Оленбурха в наш город один-одинехонек, сплыл по Яику в лодочке на одно весло, а прочих всех разослали по разным удаленным местам в гармизоны, а тех, кто взял Петра Федоровича, тех в Сибирь на каторгу сослали. Выходит, правду он сказал, что им воскресу не будет, и не воскресли. А Егор Петрович узрил родину свою и на родине век свой кончил.

Ложь ли, правда ли, говорили, что всех тех, кто до последнего конца за него стоял, всех тех он обстоял, никого из них не казнили, а все кончили жизнь свою обыкновенным порядком, кому как на роду написано; все жили по тайности в скрытных местах, а про Ивана Чику говорили, что изжил век свой на Яике в Сергиевском скиту.

— Насчет женитьбы не знаю, как сказать, — говорил Никифор Петрович, когда я коснулся этой статьи. Все разное толковали. Каким манером случилась такая оказия, что он от живой жены женился, — не точию из посторонних, а из нашей семьи никто верного не знал, иль-бо уж говорить-то не хотели, бог их знает. По крайности в ту пору, как я помнить себя

стал, — а родился-то я после Пугачева лет двадцать спустя, — разные ходили толки, Хавронья Петровна, помню, так говорила, будто еще до смотрин он влюбился в Устинью Петровну и потому сам собой захотел на ней жениться, и никто супротивничать ему не смел, — волен был, одно слово: царь. А со стороны говорили и так, будто Толкачевы погрешили в этом деле, будто бы они вложили в него такую мысль: «Есть когда-де ты возьмешь себе в жены девицу из природных казачек, то-де всех казаков, что ни есть в Расеи, привлечешь на свою сторону». Он будто бы и польстился на это. А у Толкачевых, говорили, была такая мысль: «Кзаки-де мы славуци, дочери-де у нас красивы: авось-де из нашего дома возьмет, тогда-де род наш возвысится». А он взял из нашего дома, — заметил старик.

Были и такие толки, будто бы лукавые люди нарочно смутили его жениться, для того, единственно, чтобы веру в него у народа помутить.

— Дело темное, — продолжал старик, — осталось оно на душе у тех, кто орудовал этим делом. Сам ли он дал маху — от живой жены женился, нарочно ли кто соблазнил его, чтобы испортить дело его, или кто из наших, примерно Толкачевы, с простоты вложили в него такую мысль, — разузнать этого теперь не можно. Одно верно, я так мекаю, да и другие вам скажут то же самое, — говорил старик, — одно верно, что во всем этом было произволение божие. Не женись он — кровопролитие не скоро бы утишилось; не женись он — к нему многие б енаралы с полками преклонились: кровопролитие пошло бы тогда в оттяжку. А как сведали, что он от живой жены женился, так во всем народе и во всей армии пошло сумнение, и стали от него отпадать: кровопролитие-то и прекратилось. Значит, предел божий, — значит, так тому и быть.

— Что ж с ним-то сделали, есть коли казнили не его, а подложного? — спросил я своего собеседника.

— Да то же, что и с Устиньей Петровной! — отвечал собеседник. — Как она изжила век свой на островах под секретом, так, значит, и он изжил век свой в каком ни на есть удаленном месте под секретом же.

— Мудреная вещь! — заметил я.

Точно, что мудреная! — заметил в свою очередь и рассказчик.

1 С умственной простотой. (Примечание И. И. Железнова).